

Максим Горький

# Рассказ о безответной любви



Максим Горький

**Рассказ о безответной любви**

«Public Domain»

1923

**Горький М.**

Рассказ о безответной любви / М. Горький — «Public Domain»,  
1923

«Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому, человека, который казался мне не на своём месте и лишним в этой узкой, тёмной щели города, накрытой полосой пыльного неба...»

## Максим Горький

# Рассказ о безответной любви

Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому, человека, который казался мне не на своём месте и лишним в этой узкой, тёмной щели города, накрытой полосой пыльного неба.

Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головою чёрными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пёстрые коллекции старых марок на квадратных картонах.

Иногда я останавливался пред окном, будто бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд; карнизы их засижены голубями, в поточках голубинового помёта и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа:

### «Портной Мучник».

Вероятно, не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок – две унылые, грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.

Человек – в длинном, очень потёртом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги – в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлинённого черепа гладко зачёсаны за уши, маленькие и вырезанные чётко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой причёске есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый, тонкий нос так подчёркнуто печально высунулся вперёд. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но всё-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.

Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит наконец:

«Что вам угодно?»

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив руки на груди, окружённый незримым облаком скуки, раздражавшей моё любопытство. Что сторожит он, о чём сучает?

В лавку его забежали гимназисты покупать марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, не интересное ему дело. И когда я вошёл в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.

– Давно торгуете?

– Давно.

– Глухое место?

– Да.

– Нет ли у вас старинных монет?

– Не имею.

Более чем ясно – этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка – портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза её

улыбались кокетливо, но как будто иронически, лицо – хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:

**Лариса Антоновна Добрынина, известная  
артистка провинциальных театров».**

Ещё открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она же в роли Норы, Марии Стюарт, и ещё она, и ещё. На всех портретах одна и та же улыбка кривит её рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.

– Лучше всего она – здесь, – внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. – Это – моё издание! – добавил он с гордостью.

– Никогда не слыхал её имени, – сказал я.

Он пожал плечами, как бы обидясь.

– Однакож она была весьма знаменита. Имя её гремело.

Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом», и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику её таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.

– Жива?

– Умерла.

– Давно?

– Девять лет.

Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось, и вот что рассказал странный человек.

– Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать её издавна, с детских дней. Отец мой, Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжёлого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесённой ему. Можно допустить, что обида – от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны, и когда мне было девять лет, а брату моему Коле – шесть, уехала от нас с одним знаменитым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я её помню в костюме русалки, всю в зелёных лентах, в цветах, чёрные волосы распущены до талии, и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша!» – она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на пасхе она уехала.

Мы сидели в углу маленькой, тёмной комнаты у стола, на нём в серебряных подсвечниках горели две свечи и в старинном, гранёном графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены её покрыты, как серой плесенью, пятнами фотографий, в углу жарко натоплена изразцовая печь, к ней прислонилось широкое кресло, в кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на жёлтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф её украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя, мутный масляный свет фонаря, проникая сквозь мокрое стекло окна, тускло освещает большую раскрашенную фотографию артистки Добрыниной, фотография, в чёрной с белым траурной раме, стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком – лавры и пальмовый лист.

Во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до

того, что, когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков, говорит он точно читая, слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор.

– Восемнадцать лет отец жил вдовцом, в доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух: горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. Восемнадцать лет я и Коля слышали, чаще всего, сердитый вопрос:

«Это зачем?» Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами; росли мы, прячась от него. В доме у нас было семь комнат, одна другой темнее, и среди множества разной мебели очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав:

– «Довольно! Привыкай к делу».

– А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии.

– Умер он в полноте сил и неожиданно; в жаркий день июня, возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на пятые сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые, волосатые руки на вздутом горою животе. Был неописуемо страшен: сердитое лицо его, ошетинаясь рыжими волосами, как бы налилось таким, знаете, синим гневом, и казалось мне, что сейчас вот он крикнет хрипло судьбе своей:

«Это зачем?..»

– Работу на фабрике остановили, и в доме стало так же тихо, как в праздничные дни пасхи или рождества. Началась непривычная суэта, прислуга топала и шаркала ногами шумно, говорила громче, я видел, что все довольны смертью отца, и со стыдом чувствовал, что сам я тоже доволен. При жизни его в доме у нас только мухи жили свободно и могли жужжать полным голосом. Отец шагал по комнатам тихо, всегда прислушиваясь к чему-то, чего-то ожидая, и если кто-нибудь неосторожно хлопал дверью, – это очень сердило его. А теперь только Коля, юноша чувствительный, говорил вполголоса, как привык при жизни отца, и двигался так же тихо, точно опасаясь разбудить уснувшего навеки.

– «Возню какую подняли, – обиженно говорил он. – Как будто обрадовались!»

– «Что же, говорю, Коля, обижаться? Ты знаешь – его не любили. Никто не любил».

– «И ты?» – спрашивает.

– «И ты, говорю, я человек прямой».

– Промолчал он, сидя у открытого окна, а в окно лез густейший запах кислот, гниющего жира, мыла, и запах этот сопровождался необычным шорохом: дворник наш, кривой татарин Мустафа, шаркал метлою по земле, пропитанной жирами, утопанной до твёрдости асфальта. Раньше, в непрерывном шуме работы на фабрике, этот звук был бы не слышен, неприятный и эдак, знаете, вычёркивающий звук.

– Коля, высунувшись из окна, сказал:

– «Перестань, пожалуйста, Мустафа!»

– И говорит мне:

– «Он выметает память об отце. Ты разве забыл, что нельзя мести, когда в доме покойник?»

– Утешаю его: «Теперь, говорю, мы с тобой начнём жить легче. Я стану работать, ты – учиться. Тебе не нужно будет просить рубль на театр, и никто не крикнет тебе: «Это зачем?» Пусть, говорю, это нехорошо, но мне отца не жалко. Я не актёр, фальшиво плакать не умею. А вспомни, говорю, как мы с тобой, неделю тому назад, ночью, едва не плакали от обиды? И – сколько было таких обид!»

– Он, глядя в небо, говорит:

– «Какое небо бесцветное и жёсткое, жестяное... А фабрика наша и вся земля – как ржавчина и грязь на жести».

– Такие мысли часто являлись у брата, и необычность их очень нравилась мне. О земле он говорил всегда с печалью и жалобно, как больной о теле своём. Но был он здоров, хотя тоненький, хилый, и такой, знаете, нежный, девичий румянец на щеках. Волосы тёмные, волнистые, чёрные глаза его смотрели на всё недоверчиво и как будто удивлённо. Учился играть на рояли втайне от родителя и вообще имел в себе что-то тихое, музыкальное.

– Говорю ему:

– «Самое лучшее, Коля, чего достиг отец при жизни, – это наша братская дружба. Тяжёлему его характеру обязаны мы тем, что он притиснул нас вплоть друг другу, мы крепко и взаимно любили один другого, я хочу, чтоб эта любовь так и осталась на всю нашу жизнь. Хотя я и старше тебя, но знаю, что неуч рядом с тобою. Ты живёшь другой жизнью, чем я, мысли у тебя свои, и тебе приятна игра воображения. Вот сейчас ты о небе сказал, а я не могу сказать так, не умею. И часто бывает: не понимаю я, о чём ты говоришь и почему?»

– Тут он спросил, как будто виноватый:

– «Что же я говорю особенное?»

– «Не перебивай меня! Вот, говорю, ты жалеешь и любишь землю, как плоть твою, а я хожу по ней вполне спокойно. Я не воображаю себя другим человеком, я осуждён жить в том образе, каков есть. Я думаю только о фабрике, о делах, о невесте моей. Боюсь я, что тебе будет скучно жить со мною и разведёт нас эта скука по разным дорогам. А ты – ещё мальчик, характер у тебя не окреп, время же теперь – трудное, студенты волнуются. Тебя могут втянуть в опасную политику, и ты погибнешь, подобно многим. Вот я люблю невесту мою, но, когда подумаю, что войдёт к нам она женой моей и я должен буду отдать ей часть жизни, – я боюсь. Жена моя может не понравиться тебе. И вообще правильно говорят: «Женщина в семью – как клин в дерево». Потом пойдут дети. А – как же ты? И вот, Коля, решаю я подождать жениться, чтоб ты не потерял меня...»

– Он печально говорит:

– «Не желаю я, чтоб ты приносил себя в жертву мне».

– Именно так и сказал. Но я говорил ещё и ещё, всё весьма убедительно, и кончилось, как я того хотел: обнялись мы крепко и дали друг другу клятву не разлучаться ни в каком случае жизни и никогда ничего не скрывать друг от друга. Сознаюсь, тут, видите, кроме действительной любви к брату и некоторый расчёт был: двенадцать лет жил я, как зоологический зверь в клетке, ничего, кроме мыловаренного дела, не видя и не понимая. Я даже в городе редко бывал, там дела вёл отец. А Коля, через два, три года, обещал быть учёным химиком, и потом имел он черту тихого такого упрямства, мне казалось, что эта черта тоже обещает много. Он читал серьёзнейшие книги, даже на иностранных языках, говорил о политике и вообще очень интересно разбирался в суматохе жизни. Могу сказать, что жизнь занимала его мысли в той же мере, как фабрика – мои, иными словами: Коля относился к жизни, как к своему хозяйству. И не скрою, что это было несколько смешно, несмотря на серьёзность слов. Я сообразил, что ведь невеста от меня не уйдёт, она была весьма влюблена, а брата, который умнее и делу нашему полезнее, я легко могу потерять. Но – прежде всего, я любил Колю...

Всё время человек говорил однотонно, как бы читая псалтырь, и глаза его были закрыты. Но тут он открыл их, – они были красны, полны слёз и тоски.

– Я его любил! – повторил он, выпил стакан вина и, вытирая глаза платком, продолжал более оживлённо:

– До конца сентября, до начала театрального сезона, мы с Колей прожили незабвенно хорошо, в тесном единении и откровенных беседах, хотя Колю начали посещать товарищи. Один из них, Богомолов, медик из семинаристов, был неуклюжий, грубоватый, громогласный парень и такой, знаете, назойливо умный. Есть люди, у которых вместо души популярная биб-

лиотека, – он был из этого племени. Он с первого раза не понравился мне, потому что пришёл со словами о свободе, свобода же, сударь мой, есть фальшивая иллюзия. Я почувствовал это тотчас же после смерти отца, когда фабрика начала работать и жизнь моя пошла неизбежной своей тропой. При жизни родителя я был свободнее, хотя и в плену его власти, а умер отец, и – стало ясно, что свобода налагает нестерпимую ответственность за каждый вздох души. А господин Богомоллов начал утверждать и проповедовать, что человек совершенно свободен, существует сам для себя, он – есть круг, в коем сходятся все начала и концы, и весь мир, вся жизнь в нём, внутри его, – явная нелепица. В бога же господин Богомоллов, отрицая свою фамилию, не веровал, и все его умствования были бесцельнее полёта стрижа, который мечется над землёю по воздуху, ловя невидимых мошек, – стало быть: преследует свою цель. Я, конечно, пытался доказать господину Богомоллову, что его совершенная свобода есть сущая и совершенная бесцельность, но он, будучи сыном протоиерея, проповедовал с большим умением и, конечно, загонял меня в угол. Он показался мне очень опасным для Коли. Узкогрудый и тоненький, с девичьим румянцем своим, Коля стал ещё более юным и беззащитным около этого гривастого, тёмного попovichа; речи его о свободе Коля слушал доверчиво и почтительно. А я уже тогда предчувствовал, что человек и во сне не свободен и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и камень существует до времени, пока его не изотрёт в песок. Каждый человек – раб и пленник разнообразных обстоятельств жизни, дьявол – раб своей злобы, а господь бог, – если он существует, – раб деяний своих, недоступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!

От слов рассказчика по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения; в каждом слове я чувствовал торжествующую убеждённость человека, которому жизнь любезно позволила оправдать и укрепить схему его мысли достаточным количеством фактов. В этом отношении жизнь неистощимо милостива. Огни свеч отражались в его рыжих зрачках золотыми искрами, синие белки стали теплее, он приподнял тонко очерченные брови, и на его сухом лице явилось выражение самодовольного уныния.

– Я всю жизнь занимался одним делом, и у меня поэтому очень хорошая память, всё прожитое я вижу как бы написанным на стене, – продолжал человек, кивнув головою в угол.

Там, на круглом столике, в бронзовой вазе торчал букет высушенных цветов, они казались вылепленными из какой-то грязноватой массы, формы их были уродливы, и, только внимательно рассмотрев их, я понял, что это цветы.

– Кроме Богомоллова, который смешно называл себя нищенцем, ходил к нам ещё студент Павлов, сын почтмейстера. Этот был более приятен; маленький, худой, с мордочкой и бородкой козла, он имел в себе что-то шутовское, от клоуна, и, желая скрыть это качество, носил золотые очки. Был очень шумен, всё, чего касались его лёгкие руки – посуда, мебель, – стучало особенно громко. Говорить он мог только о театре и, несмотря на явное его легкомыслие, печатал в газетах рецензии о спектаклях. Он знал актёров всей России и, когда был опубликован состав новой труппы городского театра, смешно волновался:

– «Л. Добрынина? – кричал он. – Не знаю, никогда не слышал. Л? Любовь? Людмила? Лидия? Как вы думаете?»

– До начала сезона он не успел познакомиться с Ларисой Антоновной, потому что пьяный, вывалившись из саней, разбил себе голову о тумбу. Давно уже помер человек этот, но я и до сего дня недоволен им. Есть на земле особенные человечки, сам по себе такой человечек как будто и не плох, – но вашей душе напоминает только плохое. И, сидя с такими, вы чувствуете, что он чем-то будит именно дурное ваше. Да и вообще – удивительные люди водятся на Руси, – люди, как бы нарочно рождённые для шумного занятия пустяками. Особенно много таких людей вокруг театра. На первый спектакль я с Колей взял билеты во втором ряду кресел, приплёлся и Павлов с завязанной головою.

Человек шумно вздохнул, как бы готовясь поднять тяжесть, выпил вина и, снова закрыв глаза, долго укладывал руки на груди; пальцы рук странно шевелились.



– Шёл «Гамлет». И вот явилась на сцене Офелия...

Открыв глаза, человек строго проговорил:

– Должен объяснить, что театр не нравится мне. Это какая-то торговля человеческой душой в розницу, по мелочам; выставка неискусно придуманной игры фальшивых чувств или же – осмеяние людей, которые только потому кажутся смешными, что живут простодушнее других. До этого дня я был в театре не более десяти раз и всегда уходил из него с таким чувством, как будто меня хотели обмануть, но не удалось. Я не заметил, когда вышла на сцену Лариса Антоновна, но, услышав новый голос, взглянул: стоит Офелия и смотрит прямо на меня с удивлением и такой, знаете, нерешительной улыбкой. Бывает иногда, на рассвете, – в темноту комнаты пробьётся сквозь щель ставня или занавесь жемчужная ниточка солнечного луча в такой осязательности, что, кажется, можно взять рукою этот милый луч. И вот так же осязательны показались мне лучи глаз Ларисы Антоновны. А голос её сочен, глубок, – голос женщины, хотя говорила она жалобно и робко, как подобает девушке Офелии, безответно влюблённой. Пред нею стоял нахалом Гамлет, в чёрном весь, как трубочист, изображал его известный тогда Аяров.

Человек впервые усмехнулся, обнажив белые, плотные зубы.

– Об этом Аярове стишки злые помню. И со свистом, сквозь зубы он прочитал:

Как свеча из воска ярого  
От жары уныло топится,  
Так и от игры Аярова  
Зритель с горя в Волге топится!  
Если ж Кином он прикинётся,  
Из архива им же вынутым, —  
Вместе с Кином опрокинутым  
И смысл здравый опрокинётся!

Прочитал, потемнел и продолжал тихо и медленно:

– Не могу рассказать, что испытал я в тот вечер, но скажу, – пусть это кощунственно, – я как будто впервые причастился святых тайн красоты. Хотя это не мои слова, их кричал в антракте Павлов, он вообще говорил храбро, не оглядываясь на смысл речи. В театре он становился подобен пьяному, а в этот вечер особенно живо хватал лёгкими руками людей за пуговицы, лацканы, рукава, неистовствуя, как подкупленный:

– «Очарование! Талант! Божественная красота!»

– После сцены сумасшествия он даже плакал, а потом потащил меня и Колю в уборную к Ларисе Антоновне. В уборной он весь рассыпался словами, целовал руки ей и вообще вёл себя театрально, как принято в их быту. Я видел её такой же, как на сцене, с той же улыбкой на лице и те же лучи глаз, – глаза у неё были синеватые, спокойные, с улыбкой в глубине, а рука – сухая, горячая.

– Слушая Павлова, она смеялась негромко и как бы не веря похвалам его.

– «А вам я нравлюсь?» – спросила она.

– Я думал – это она меня спрашивала, и хотел достойно ответить, но услышал тихий голос Коли:

– «Да. О да!» – сказал он.

– Тут я почувствовал, что некоторое время брат был забыт мною, хотя мы стояли рядом. Это очень сконфузило меня, а восторг Коли – встревожил. Я увёл его, в театре была моя невеста, дочь крёстного отца Коли, мы пошли к ней. Она была барышня образованная, училась два года на курсах в Москве и тоже – театралка. Миловидная такая, здоровая и весёлая, с румянцем во всю щёку и с большим пристрастием к сладкому. Ей Лариса Антоновна не понравилась:

– «Женщина оригинальной красоты, но ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет потерянную ею брошку...»

– В этом было что-то верное, я тоже вспомнил, что Лариса Антоновна часто опускала глаза и как будто не туда идёт, мимо людей. Коля начал спорить с невестой моей, а я, будучи наслышан о свободном поведении актрис, подумал, что наверное увлечётся он Ларисой Антоновной и это потребует значительных расходов на подарки ей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.